

---

**НОВЫЙ  
ЖУРНАЛ**

**XX**

**НЬЮ-ИОРК**

---

# НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией  
М. М. КАРПОВИЧА

XX

6-ой год издания

Н Ъ Ю - И О Р К

1948

## О Г Л А В Л Е Н И Е :

<b>Б. Зайцев.</b> — Жуковский .....	5
<b>Н. Берберова.</b> — Плач.....	33
<b>Р. Гуль.</b> — Конь рыжий .....	75

### С Т И Х И :

<b>Н. Арсеньева, Н. Евсева, М. Кригер, Г. Струве,</b> <b>Т. Тимашевой</b> .....	125
--	-----

### ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

<b>В. Маклаков.</b> — Еретические мысли .....	131
<b>А. Зак.</b> — Атомная политика Соединенных Штатов .....	150

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

<b>Т. Дейкарханова.</b> — Московский Художественный Театр...	171
<b>В. Коварская.</b> — Американские нео-примитивы .....	186

## ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

<b>М. Коряков.</b> — 16 октября .....	195
<b>М. Вишняк.</b> — «Современные Записки» .....	224
<b>К. Деникина.</b> — Страницы из дневника .....	256
<b>Н. Валентинов.</b> — Трагедия Г. В. Плеханова .....	270

## БИБЛИОГРАФИЯ:

<b>Л. Сухотин.</b> — Мои работы по истории опричнины .....	294
<b>Г. Федотов.</b> — «La Geste du Prince Igor» .....	301

# ТРАГЕДИЯ Г. В. ПЛЕХАНОВА

(К 30-летию со дня его смерти)

Как рыцарь Шиллера, он ждал всю жизнь, чтобы у «Прекрасной Дамы» стукнуло и отворилось окно. Февральская революция, наконец — и казалось, навсегда — окно свободы отворила. Плеханов, бросая Женеву, тридцать семь лет эмигрантской жизни в Европе, спешит в Петербург. Он прибывает туда 31 марта. Ему устраивают торжественную встречу на Финляндском вокзале, с почестями приветствуют в Совете рабочих и солдатских депутатов, но почти немедленно, трагически, обнаруживается, что с этой революцией, которую, по его словам, он ждал «как верующий Мессию», у Плеханова нет общего языка. 5-го апреля, несколько дней после приезда, выступая против большевистской «Правды», он начинает писать в «Единстве», делающейся его газетой. И с каждой его статьей, все яснее и чем дальше тем глубже, обнаруживается пропасть между революцией и взглядами его — основоположника русской социал-демократии. «Революция, как-то писал он, говорит нам, как некогда Егова сказал еврейскому народу: я Господь Бог твой и да не будет у тебя других богов, кроме меня». Но когда Плеханов видит, что на лице бога явственно и отчетливо проступают скулы и прищуренные, косящие глаза Владимира Ильича, призывающего к восстанию против Временного правительства, он отшатывается от бога, бунтует, восстает против него . . .

Плеханов — оборонец или, как презрительно говорили большевики, «социал-патриот». Не может быть мира с немцами, пока немецкие войска занимают часть России, Бельгию и северную часть Франции. «Мы не того желаем, чтобы Россия разгромила Германию, а чтобы Германия не разгромила Россию». Революция придерживается другого мнения. Она хочет не воевать, а брататься с победителями немцами. Она требует скорейшего заключения мира «без аннексий и контрибуций», в сущности мира любой ценой. Плеханов с ужасом видит, что немецкие войска подвигаются вглубь России, «сметая русские

дружины, как ветер гонит прах долины и клонит пыльную траву». Он с негодованием пишет, что под влиянием большевистской, «кинтал-циммервальдской, пропаганды фронт разлагается, солдаты бросают оружие раньше, чем на них нападает неприятель». «Армия без дисциплины не армия, а дикая деморализованная орда». Плеханов энергично поддерживает Савинкова, настаивающего в целях поддержания дисциплины, на введении смертной казни на фронте. И, быть может, ничто лучше не характеризует в это время позицию и чувства Плеханова, чем фраза, которую, подхватывая слова А. Ф. Керенского, он в номере от 10 сентября «Единства» с силой бросает в лицо меньшевистской «Рабочей Газете»: «Будь проклят тот, кто в настоящее время заговорит о мире. Будь проклят он во имя самых жизненных, самых святых, интересов России и русской революции».

Не только в этом его расхождение с Еговой. Плеханов убежден, что «русская история еще не смолола той муки, из которой будет современем испечен пшеничный пирог социализма, а пока она такой муки не смолола, участие буржуазии в государственном управлении необходимо в интересах самих трудящихся. Участие буржуазии особенно необходимо в нынешнее совершенно исключительное время».

Эта идея совсем не ко двору революции. Следуя за Лениным, она все более пылает антибуржуазными чувствами. В красном хмелю она кричит «долой министров-капиталистов» и в число этих капиталистов попадает и Керенский. Революция — сознательно и бессознательно — стремится превратить войну внешнюю в войну гражданскую, в борьбу против буржуазии и помещиков. Плеханов идет против стихии, против течения. Революция обходит его, перекачивается чрез его голову. Она не слушает его. Прочитав несколько номеров «Единства», некий Степан Кокотько, матрос Балтийского флота, пишет Плеханову:

«Весь смысл вашей газеты противоречит рабочему и крестьянскому классу. Я открыто скажу, что вы человек, продавший свою совесть капитализму. Прошу вас, товарищ, обратить внимание на то, что за вами никто не пойдет, кроме буржуазии».

Плеханов поместил это письмо в ном. от 5-го мая «Единства» под заголовком: «Письмо темного человека». Таких «темных» людей были миллионы. За Плехановым они не шли. Но против Плеханова не только Степаны Кокотько, а весь левый и левящий марксистский лагерь. Для «Правды», —

Плеханов только «холоп буржуазии», «рenegат», «горе-марксист». «Наша Жизнь» М. Горького третировала его свысока как отсталого, ничего не понимающего человека, на что Плеханов спокойно ответил, что в публицистике М. Горького, руководителя газеты, «ума не больше, чем было в публицистике Гоголя». «Рабочая Газета» меньшевиков Петербурга писала, что судьба органа Плеханова — «хаять и брюзжать на русскую революцию», а «Вперед» меньшевиков Москвы видел в Плеханове и его окружении «ничтожную группку интеллигентов, оторвавшуюся от рабочего движения». Кто мог-бы предвидеть такое положение Плеханова в русской революции? «Если в 1905-1907 гг., с грустью замечал Плеханов, меньшевики разделяли мои тактические взгляды, то теперь весьма значительная, кажется, даже наибольшая их часть, по своим тактическим воззрениям, оказалась более близкой к Ленину, нежели ко мне». Плеханова особенно удручало политическое размножение тех, кого он называл «полуленинцами».

«Опасны не ленинцы, а полуленинцы. Под полуленинцами я понимаю тех наших социалистов, которые отвергая некоторые основные посыпки ленинской тактики, всё-таки подготавлиют его победу тем, что разделяют другие его посыпки, в практическом отношении более важные». Анализируя на многих примерах типы и степени этого «полуленинства», Плеханов восклицал: «Неужели вы не понимаете — посеешь четверть, пожнешь несколько четвертей, посеешь ветер, пожнешь бурю, посеешь полуленинство, пожнешь ленинство».

Глубочайше убежденный, что по ряду объективных условий (на первом месте он ставил уровень развития производительных сил России) никакой иной, кроме буржуазной, революции в ней быть не может, Плеханов из этого ее характера — с замечательной, можно сказать, железной последовательностью — делал все необходимые логические, политические и социальные выводы. В качестве ортодоксального марксиста Плеханов всегда утверждал, что история есть борьба классов. Желая быть «сознательным выразителем этого бессознательного процесса», обострением классовой борьбы, как бичем, гнать историю к финалу, к «конечной цели», диктатуре пролетариата и социализации средств и орудий производства, он с ожесточением бил по идее ослабления классовых противоречий, смягчению классовой борьбы, примирению и соглашению классовых интересов, сотрудничеству классов. Подобные идеи он считал злостным оппортунизмом, реакционной ревизией марксизма, выниманием из него революционной души

Во время войны у него большой перелом. В 1917 году, приехав в Россию, Плеханов стал ревностным защитником сотрудничества классов, соглашения классовых интересов, коалиции революционной, социалистической демократии с прогрессивными слоями буржуазного общества и, в первую очередь, с представителями торгово-промышленного класса. Его попытки (см. номера «Единства» от 13-23 июня) согласовать такую позицию с тем, что он писал прежде против «сотрудничества классов» и о необходимости не ослаблять, а обострять классовую борьбу — до крайности неловки. Но «новая» позиция — зачатки ее видны у него еще в 1883 году в книжке «Социализм и политическая борьба» — логически вытекала, повторяю, из убеждения, что «песенка капитализма в России не спета», что буржуазную революцию нельзя делать без буржуазии и против нее, что одна революционная демократия не может справиться «со всеми злобами нашего нынешнего исторического дня», в особенности со сложными хозяйственными задачами. О соглашении классов и отсюда вытекающем коалиционном министерстве, напоминал Плеханов, «я говорил с первого момента моего вступления на родную почву, но оставался почти один среди моих товарищей». На эту тему он написал много статей и постоянно к ней возвращался. Написанное им представляет совершенно особый, актуальный интерес именно сейчас. Во всей послевоенной Европе (Франции, Италии, Бельгии, Голландии — можно продолжить, Германии, Австрии и т. д.; исключение — Англия, но она к тому же придет!) коалиция, соглашение, сотрудничество социалистов с определенными буржуазными слоями и партиями, например, с христианскими демократами, необходимы как условие социальных преобразований и решения экономических проблем на базе демократического строя. Коалиционные правительства в Западной Европе являются заслоном от всяких вариаций тоталитарного строя, который, вследствие огромных ошибок и попустительства Соединенных Штатов и Англии, Кремлю удалось навязать Восточной Европе и который он пытается навязать и странам лежащим дальше на Запад.

Ограниченный местом, я могу привести здесь лишь небольшие выдержки из того, что по этому, ставшему в Европе остро-актуальным, вопросу, — писал Плеханов в «Единстве» (номера от 25 мая, 16 июля, 13 и 15 августа, 8, 16, 17 сентября).

«Коалиция нужна для избежания гражданской войны. Коалиция нам нужна для устранения той грозной хозяйственной



разрухи, борьба с которой не может быть успешно ведома силами одной только революционной демократии. Вне коалиции для нас нет спасения. Нужна не капитуляция, а именно коалиция. Власть должна опираться на коалицию всех живых сил страны. Власть, воздвигнутая на узком социальном фундаменте, неизбежно страдает неустойчивостью. А неустойчивость власти так же неизбежно вводит в искушение разных авантюристов, пытающихся заменить ее новой властью, более удобной для их честолюбивых замыслов. Всякое коалиционное правительство возникает как результат взаимных уступок. Коалиция есть соглашение. Соглашение не есть борьба. Кто входит в соглашение, тот в его пределах, — заметьте, я говорю в его пределах, — отказывается от борьбы. А кто продолжает борьбу, тот нарушает соглашение. Тут середины быть не может: не хотите соглашения — идите за Лениным, не решается идти за Лениным — входите в соглашение. Классовая борьба не есть самоцель. Если классовая борьба есть лишь средство для защиты классового интереса, то всякий общественный класс показал бы себя весьма неразумным, если бы счел себя обязанным вести классовую борьбу там, где она не только полезна, но вредна с точки зрения классового интереса. Неужели интересы рабочих всегда и во всем противоположны интересам капиталистов? Неужели в экономической истории капиталистического общества не бывает таких случаев, когда указанные интересы совпадают между собою? В тех случаях, когда эти интересы совпадают между собою и когда обе стороны понимают это, происходит уже не борьба классов, а их сотрудничество. Политические сделки бывают жизнеспособны только тогда, когда в их основе лежит соглашение экономических интересов. Соглашение же экономических интересов, в свою очередь, предполагает не эклектическое сглаживание противоположностей, а хотя бы временное их разрешение с помощью единого руководящего принципа. Принцип, который можно и должно положить в основу экономического соглашения между пролетариатом и буржуазией, заключается в широкой системе социальных реформ. Социалисты должны вступить в коалиционное министерство, чтобы работать для удовлетворения насущных нужд страны вместе с не социалистическим его элементами, а не затем, чтобы вести с этими последними «классовую борьбу». К соглашениям нельзя прийти без взаимных уступок. Нет таких формальных

препятствий, с которыми нельзя было бы справиться, обладая нужным запасом благоразумия и доброй воли. Но в том то и дело, что тут много, очень много, требуется как благоразумия, так и доброй воли. Чтобы побороть указанные препятствия, необходимо смотреть на предмет с точки зрения нужд всего населения, а не с точки зрения интересов отдельного общественного класса или слоя. В противоположном случае ничего хорошего не выйдет.

Достаточно внимательно прочитать приведенные цитаты, чтобы ясно усмотреть в них веши совершенно новой концепции социализма. Это не ортодоксальный марксизм. Это очень далеко от того, что защищал Плеханов, занимая крайне-левую сторону на Олимпе Социалистического Интернационала. Очень далеко от Плеханова, до сих пор бичевавшего «притупление» классовых противоречий, рассматривавшего «предмет» отнюдь не с точки зрения нужд всего населения, а исключительно с т. н. пролетарской точки зрения, настойчиво и абсолютно отождествлявшейся им с интересами всего населения. Новую для Плеханова позицию, его «философию» коалиции и соглашения, хотя они с ней, конечно, незнакомы, ныне разделяют сторонники Сарагата в Италии, голландские социалисты, товарищи Спаака в Бельгии, французские социалисты, идущие за Блюмом, и, по существу, все скандинавские социалисты. Аргументы Блюма в защиту образования «третьей силы» — коалиции социалистов с христианскими демократами — чрезвычайно близки к доводам Плеханова. А когда Блюм говорит, что трудности и препятствия, «имманентные» современным коалиционным правительствам должны быть разрешены, если каждая сторона выскажет «bonne volonté à les résoudre», — он, не зная того, повторяет Плеханова. Впрочем, одной доброй воли здесь мало. Современные коалиционные правительства Европы, с огромной ролью и весом в них социалистических партий, не суть, по выражению Блюма, лишь «gérants honnêtes» буржуазного общества, правительственные образования, появляющиеся на свет божий только потому, что никакие другие правительственные комбинации парламентски невозможны. Потрясенный второй планетарной войной, мир, еще с большей чем прежде быстротой, уходит от старых берегов буржуазно-капиталистического общества. Пред «gérants honnêtes»-а в отличие от коммунистов они должны быть действительно честными — стоит не задача охранять исчезающее, а творить новое. Но в нашу эпоху политические, экономические, культурные, технические, организационные

задачи национального и интернационального характера исключительно сложны и велики (они неизмеримо сложнее тех, что пред коалицией в России ставил Плеханов). Для их разрешения от политических сил и партий, входящих в коалицию, требуется не только добрая воля. Нужна сильная воля. Требуется много знания, очень большая культура и широчайший кругозор. У современных коалиций и у социалистических партий, в коалиции идейно ведущей силы, всего этого часто недостает. Это говорит лишь о грандиозности задач демократического социализма и малой к ним подготовленности человечества. По ту сторону железного занавеса стройка социализма — дело несложное: непогрешимый вожь там фабрикует социализм с помощью «единой» партии, полиции, расстрелов и концентрационных лагерей.

\*\*  
\*

В августе 1917 года Временное Правительство А. Ф. Керенского — в поисках столь необходимой для него опоры — созвало в Москве т. н. Государственное Совещание из представителей всех, как говорили тогда, «живых сил» страны. «Иконы» революции, старейшие и виднейшие представители ее течений — Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Брешко-Брешковская, ученый анархист Крапоткин, ставший ревностным государственнымником — были, конечно, среди приглашенных. Во время Государственного Совещания, продолжавшегося три дня, и после него — Г. В. и Р. М. Плехановы были нашими гостями. Они прожили у нас 10 или 12 дней. Если бы во время пребывания у нас Г. В. Плеханова я не имел с ним ряда бесед, часто принимавших характер лишь интервью, вряд ли я мог бы так отчетливо установить, в каком виде он рисовал себе после успешной «буржуазной» революции — «вырвавшуюся из объятий Азии и окончательно ставшую на путь европеизации Россию». В качестве одного из примеров (и очень важного) полученных от него на этот счет объяснений укажу, что на мой вопрос, должна ли по его мнению, коалиция социалистов с буржуазными партиями иметь короткий, временный характер — только во время «разгара» революции — или быть актом длительным, он ответил:

«Конечно, она должна быть длительной. Нам нужно преодолеть разруху, созданную войною, намного поднять уровень развития наших производительных сил, нам придется платить большие внешние долги, поднять наш экспорт и импорт. Это

не дело дня или года. Нельзя достигнуть успешных результатов во всем этом без серьезного соглашения, без длительного сотрудничества сознательных элементов рабочего класса с деловыми представителями буржуазии. Когда говорю о коалиции, я не имею в виду на первом плане коалицию с Павлом Николаевичем Милюковым. Павел Николаевич — превосходный ученый, но насколько я знаю, фабрик и заводов он не имеет. А меня больше всего интересует сознательный, основанный на продуманном соглашении, контакт рабочих с теми, кто имеют фабрики и заводы. Ведь в этой области создаются объективные условия нашего экономического процветания, а значит и социального прогресса».

Далеко не о всем можно было беседовать с Плехановым. Почтение к гостю заставляло, например, избегать всего, что имело касательство к философским вопросам. Здесь расхождение с ним (против его философского материализма я в 1908 году написал книгу) было слишком резким. Приходилось избегать разговоров о мире. Это очень волновало Плеханова. Некоторых других тем тоже не нужно было трогать, чтобы не напоминать, ныне меня абсолютно нерадующие, склочные выпады, которые, впрочем, защищаясь, я делал против него в Женеве, будучи «ленинцем». Однако, как я ни старался ничем не делать неприятности Г. В. Плеханову, это случилось и вот по какому поводу.

В Киеве в 1902-1903 гг. в один из рабочих кружков, которые я посещал в качестве пропагандиста, входил 19-летний конторщик железно-дорожных мастерских Н. Вилонов, человек очень одаренный. Втянутый в кружок «от сохи», без всяких политических знаний, он через несколько месяцев оказался на несколько голов выше других рабочих этого кружка. Весною 1903 года Вилонов уехал из Киева и я совершенно потерял его из виду. Он стал видным революционером в рядах большевиков, сидел по тюрьмам, бегал из них, высылался в Сибирь, убегал из ссылки. Он переписывался с Лениным (подписываясь «Михаил Заводской») и с М. Горьким, а в 1908 г., уехав из России, был в числе слушателей организованного М. Горьким на Капри «социал-демократического университета». Разойдясь с профессорами этой школы (А. А. Богдановым, Базаровым, Луначарским и др.) он покинул Капри, приехал в конце 1909 года в Париж, где, по словам Ленина, последний имел с ним разговоры «п о д у ш а м». Ленин считал Вилонова крупнейшей фигурой, «настоящим рабочим передовиком». После свидания с ним Ленин в письме к Горькому указывал, что

появление таких людей как Вилонов («товарищ Михаил») есть «поруча», что русский рабочий класс и «скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует превосходных революционеров». О перипетиях жизни Вилонова (он умер в Швейцарии в 1910 году) я узнал отчасти от М. Горького в 1915 году, а больше всего после появления в печати писем Ленина в первом «Ленинском Сборнике» и в томах его сочинений. Когда в 1904 году Ленин говорил и писал о некоем «Михаиле Заводском», посылавшем ему письма из Екатеринослава, мне и в голову не приходило, что это тот самый Вилонов, мне столько крови попортивший в Киеве в конце 1902 года.

В те годы в партии не было ни одного человека, полагавшего, что предстоящая революция будет не буржуазной, а социалистической. Ленин, в вышедшей в 1905 году книжке «Две тактики социал-демократии в демократической революции» называл:

«нелепыми и анархическими мысли о немедленном осуществлении программы — максимум, о завоевании власти для социалистического переворота. Только самые невежественные люди могут игнорировать буржуазный характер происходящего демократического переворота. Пытаясь немедленно поставить себе целью социалистический переворот, социал-демократия действительно осрамила бы себя. Совершенно нелепа мысль, что буржуазная революция не выражает вовсе интересов пролетариата. Буржуазная революция в высшей степени выгодна пролетариату».

Ленин повторял «истину», установленную Плехановым еще в начале 80-х годов, но можно показать, что приятие ее было у него временным, никогда не было глубоким, прочным, а только словесным. Оно противоречило его темпераменту, всему комплексу его воззрений и резко расходилось с его тактикой. Юноша Вилонов в 1902 году хронологически был первым в рядах социал-демократов, с присущей ему резкостью и страстью начавший доказывать, что если предстоящая революция до основания снесет царизм, то она не будет и не может быть буржуазной. В своих рассуждениях Вилонов исходил из фразы, произнесенной Плехановым в 1889 году на конгрессе Социалистического Интернационала:

«Русское революционное движение восторжествует как движение рабочего класса или оно не восторжествует вовсе».

Из этого положения (несомненно двусмысленного!), почтаемого не только им, а всей партией аксиомой, Вилонов

делал следующий вывод: раз революционное движение восторжествует именно как движение рабочего класса, оно должно иметь своим неминуемым следствием установление или хотя бы попытку установления социалистического строя. Сбить его с этой позиции представляло огромную трудность. Его логика, нужно признать теперь, была безупречной. «Невозможно допустить, настаивал Вилонов (обычно прибавляя — «только интеллигенты этого не могут понять»), чтобы восторжествовавший рабочий класс не стал трогать, не стал бы разрушать ненавистные ему капиталистические отношения. Он несомненно захватит фабрики и заводы и неужели вы, интеллигенты, будете с полицией и жандармами силою вырывать у него эти фабрики?».

Плеханов, нахмутив брови, слушал мой рассказ с огромным вниманием. О Вилонове и связи его с Лениным он ничего не знал. В «Единстве», ссылаясь на свою фразу в 1889 году, он не раз употреблял такие выражения: «восторжествовавший рабочий класс», «рабочий класс, ставший ныне господином положения», но почти всегда, как он это сделал в номере от 20 июня, к этому прибавлял: «мы должны вести свою пропаганду и агитацию так, чтоб под их влиянием народ не вообразил, будто ему не остается ничего другого, как теперь же попытаться сделать социалистическую революцию». По поводу того, что я сообщил, он мог ограничиться критикой Вилонова, если бы, нисколько не отдавая себе отчет в том, что это должно задеть Плеханова, я не сказал: Вилонов был ленинцем раньше Ленина, в 1902-3 г. он оказался предшественником идей, которые теперь, в 1917 году, Ленин проводит на практике. Плеханов даже вскочил со стула:

«Позвольте, если то, что проповедует сейчас Ленин полностью совпадает со взглядами Вилонова, а последний их, якобы, выудил у меня, тогда по законам логики нужно признать, что теоретическим виновником нынешнего преступного поведения Ленина являюсь я — Плеханов. Выходит, что я вроде духовного отца Ленина. Мне уже не раз, когда Ленин греховодил, приходилось слышать об этом. Говорил мне об этом и В. Адлер. Я ему тогда ответил: если Ленин мой сын, то во всяком случае незаконнорожденный. Нет, нас не нужно смешивать. От этой чести решительно уклоняюсь. Различие между нами очень, очень большое: я хотел сеять пшеницу, Ленин же сеет чертополох. Не нужно быть агрономом, чтобы различать сии растения».

Отношения между Плехановым и Лениным в это слишком

простое противоположение пшеницы и чертополоха, разумеется, не укладываются, хотя различия между ними были действительно громадные. Они расходились во взглядах на партию, ее организацию, ее руководство, ее дух. Расходились во взгляде на русскую революцию и разногласие здесь, в скрытом виде, было всегда с момента первой встречи в 1895 г., когда Плеханов сказал 25-летнему Ленину: «вы поворачиваетесь к либералам спиной, а мы лицом». У Плеханова на русскую революцию был, кажется, только ему одному присущий, я бы сказал, особый философский взгляд, характерно политически выраженный в 1905-6 г.г. и в 1917 году. Очень большое разногласие сказалось у них и в общем понимании образования условий и предпосылок появления социалистического строя. В связи с этим, они разошлись и во взгляде на такой важный вопрос как роль личности в истории. Формулы в этой области Плеханова ни в коей мере не увязывались с психологией, натурой, бурным волонтаризмом Ленина. Но в другой части своих воззрений Плеханов несомненно был учителем, духовным отцом Ленина. До осени 1900 года Ленин, по его словам, был «влюблен в Плеханова». Для него Плеханов был «кумир». Даже отодвинувшись от него, Ленин в 1904 году говорил Лепешинскому: «Плеханов — человек колоссального роста, пред ним приходится съезживаться». Однако, тут же прибавил: «а всё-таки мне кажется, что он уже мертвец, а я живой человек».

Философская книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм — заметки об одной реакционной философии», несмотря на кое-какие выпады против Плеханова, лишь индивидуальная форма потребления всё того же плехановского материализма. Это всё тот же разговор о «буржуазной философии», о «ведьме с красными, желтыми и белыми глазами», которым так ошарашил меня Г. В. Плеханов в апреле 1904 г. «Новейшие течения в философии, вроде эмпириокритицизма», говорил Плеханов на Лондонском съезде партии в 1907 году, «представляют собою лишь теоретическое отражение борьбы буржуазии с революционными стремлениями пролетариата». Ту же мысль, в более смягченной форме, находим мы и в предисловии к его трехтомной «Истории развития русской общественной мысли». Этот взгляд вслед за Плехановым развивал и Ленин в своей книге, которая после 1930 года была объявлена неподлежащей критике, неизбежным достоянием обязательной для всех в СССР идеологии. Усвоил Ленин и плехановское убеждение, что весь ортодоксальный марксизм

от «Манифеста Коммунистической Партии» до III тома «Капитала» есть непоколебимая, вечная истина и попытки ее ревизии должны рассматриваться как контр-революционное буржуазное поползновение. Ленин, разумеется, вполне разделял «Критику наших критиков» Плеханова с ее хлестанием по Э. Бернштейну, по идее ослабления классовой борьбы, по идее сотрудничества классов, с ее явно противоречащим фактам убеждением, что в капиталистическом обществе происходит абсолютное обнищание рабочего класса. Было кое-что и другое, поважнее, в чем отцом Ленина оказался Плеханов. Мы это узнаем, раскрыв протоколы «Второго очередного съезда (в 1903 году) Российской Социал-демократической Партии». В них на 168-ой странице напечатана следующая речь Посадовского, делегата Сибирского союза партии:

«Несомненно, мы не сходимся по следующему основному вопросу: нужно ли подчинить нашу будущую политику тем или иным основным демократическим принципам, признав за ними абсолютную ценность, или же все демократические принципы должны быть подчинены исключительно выгодам нашей партии? Я решительно высказываюсь за последнее. Нет ничего среди демократических принципов, чего мы не должны были бы подчинить выгодам нашей партии (восклицания: «и неприкосновенность личности?») Да, и неприкосновенность личности. Как партия революционная, стремящаяся к своей конечной цели — социальной революции, мы исключительно с точки зрения скорейшего осуществления этой цели и с точки зрения выгоды нашей партии должны относиться к демократическим принципам. Если то или иное требование будет невыгодно нам, мы его не будем вводить».

Знаем теперь, что несет это воззрение, претворяясь в жизни. Ныне ни Сталин, ни один из его гаулейтеров — Готвальд, Дмитров, Тито, Гроза, Ракоши, Берут, Торес, Тольятти — не осмелятся открыто признать свое согласие с речью Посадовского. Наоборот, все они желают себя представить в виде верных рыцарей демократических принципов. Но суть того, что говорил Посадовский, и есть нутро сталинского коммунизма: «всё позволено». Исходя из посылок Посадовского можно затоптать не только свободу слова, печати, совести, собраний, право выбора, но вообще превратить человека в гриб-поганку и дойти до чудовищного истребления миллионов людей, неугодных по их воззрениям. Ведь «нет ничего, чего мы не должны подчинить выгодам нашей партии». Не нужно



думать, что лично Посадовский (его настоящая фамилия В. Е. Мандельберг) был способен претворить в жизни гнусные выводы, логически вытекающие из его речи. Колеблющийся большевик, он вскоре стал меньшевиком, а потом совсем бросил русскую революцию и уехал в Палестину. Его речь на съезде была только революционно-звенящей, непродуманной, безответственной болтовней. В свое время мы почти все ею занимались: 45 лет назад речь Посадовского, например, меня мало шокировала. «Цель оправдывает средства». Это у всех было на устах. Мы просто многого не знали, еще более — многого не понимали. Мы были самонадеянно глупы. Нужен был удар молотом по голове, чтобы открылись глаза и наступило прояснение. А Плеханов?

Тут приходится сказать: одно дело — простой смертный, другое — Юпитер. Плеханов был «Юпитером», выдающимся вождем партии, человеком большого знания, настоящим европейцем, по своей общей и политической культуре на много выше всех делегатов съезда. О нем нельзя было сказать: он это говорит потому, что не понимает о чем говорит. Что же он сказал, выслушав Посадовского? Нечто ужасное: «в полне присоединяюсь к словам тов. Посадовского». Из этого полного согласия с Посадовским следовало очень многое и, как частности, то, что Плеханов иллюстрировал его таким примером:

«Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Буржуазия итальянских республик лишала когда-то политических прав лиц, принадлежащих к дворянству. Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов, подобно тому (sic!) как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно было бы судить с точки зрения правила: *Salus revolutiae (sic!) suprema lex est*. И на эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент, то нам следовало бы стараться сделать его долгим парламентом, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели».

Протоколы съезда отмечают, что речь Плеханова вызвала рукоплескания, но на некоторых скамьях и шиканье, заглушенное голосами: «вы не должны шикать». Тогда один из де-

легатов Егоров (Левин) встал и заявил, что «раз такие речи вызывают рукоплескания, то я обязан шикать». Этот политически зоркий и чуткий человек вскоре совершенно отошел от революции, точно предчувствуя куда она идет. «Шикание» Егорова разделял и другой делегат съезда, В. Д. Медем (на съезде выступавший под кличкой Гольдблат) — представитель и руководитель еврейского Бунда, в 1921 году фактически тоже отошедший от революции (он уехал в Америку\*).

Анализируя в книжке «Шаг вперед — два шага назад» дебаты на съезде, приведшие к расколу партии на большевиков и меньшевиков (формально, совсем не в связи с поднятым Посадовским и Плехановым вопросом, но глубинно, фактически именно в этой связи, как о том теперь ясно свидетельствует позиция меньшевистского «Социалистического Вестника» в Нью Йорке), Ленин отнес людей «шикавших» Плеханову к категории презираемых им «жирондистов-оппортунистов». «Жирондист, вздыхающий об абсолютной ценности демократических требований, — это и есть оппортунист». Ленин такому политическому типу противопоставлял «якобинцев», твердых социал-демократов, большевиков, не признающих за демократическими принципами никакой безусловной ценности. «К сожалению, писал он, дебаты были закрыты и выплывший по поводу них вопрос сошел тотчас со сцены». Вопрос сошел со сцены маленького подпольного совещания, чтобы, к сожалению, чрез 14 лет появиться уже на грандиозной сцене потрясенного революцией Государства Российского. И Немезиде — она кое-когда в истории появляется! — было угодно, х о т я Плеханов от этой картины с печалью, отвра-

---

\*) Не нужно всё-таки думать, что только Егорова и Медема покоробили слова Плеханова. Протоколы этого не отмечают, но можно быть уверенным, что в числе «шикавших» были В. П. Махновец-Акимов и его сестра. Несколько недель позднее на съезде Лиги социал-демократов от Плеханова несколько оттородился и Ю. О. Мартов, будущий лидер меньшевиков (в 1917-18 гг. — в глазах Плеханова он был «полуленицем»). «Слова Плеханова, — говорил Мартов, — «вызвали негодование части делегатов. Его легко было бы избежать, если бы Плеханов добавил, что, разумеется, нельзя себе представить такого трагического положения, при котором пролетариату для упрочения своей победы пришлось бы попирать такие политические права, как свободу собраний». Плеханов ироническим «терси» дал понять, что дополнения и оговорки Мартова он не принимает.

щением и негодованием отворачивался, показать ему, как это в порыве «революционного энтузиазма» Степаны Кокотько, по приказу свыше, «разгоняют» народное представительство. В избранном по всем правилам «четырёххвостки» Учредительном Собрании сторонники Ленина имели не более 25% голосов. И Ленин, стремясь к «скорейшему осуществлению конечной цели — социальной революции», находил, что такая ситуация «невыгодна» его партии и потому разогнал Учредительное Собрание не через две недели, а в день его открытия. Все было сделано в духе формулы Посадовского и как в свое время рекомендовал Плеханов.

На это обстоятельство, т. е., что к акту Ленина «идейно» руку издадала приложил Плеханов, немедленно после смерти Учредительного Собрания указали Мирский в «Вечернем часе» и В. М. Чернов в «Деле Народа». «Улики» — протоколы съезда — были налицо, обвинение в тот момент было столь жгуче, ранило столь больно, что Плеханов не мог обойти его молчанием. Орган его «Единство» перестал выходить после октябрьского переворота, но в конце декабря 1917 года вместо него сделало попытку появляться «Наше Единство» и в нем в двух больших статьях (номера от 11 и 13 января 1918 года) Плеханов попробовал объяснить. Статьи эти имеют то особое значение, что после них Плеханов уже ничего более не писал. «Болезнь, сообщил он, мешает мне писать». Это его последние предсмертные высказывания в печати. Его сорокалетняя литературная деятельность обрывалась на самом тягостном в жизни Плеханова политическом объяснении. Почти накануне смерти этому гордому человеку пришлось оправдываться, доказывать, что он не соучастник преступления против страны, о которой, в речи 3 апреля в Совете Рабочих Депутатов, он говорил:

«Я люблю мою страну. Этого чувства любви вы из моего сердца не вырвете».

Увы, последние статьи Плеханова принесли многим глубокое разочарование. Потому ли, что помешало самолюбие, нежелание покаяться в прошлых ошибках (однако, в статье от 29 декабря — он писал «мне захотелось покаяться, лучше поздно, чем никогда») или потому, что в самом его мировоззрении была большая червоточина, очень большие противоречия (а какой большой человек их не имел?), но Плеханов не отмежевался ясно и твердо от идеи легализовавшей разгон Учредительного Собрания. В своем ответе он обошел полным молчанием свое согласие с

формулой Посадовского и у него как бы не хватило смелости, хотя он имел обыкновение цитировать самого себя, en toutes lettres привести то, что на съезде партии он говорил о разгоне парламентов. Вместо цитаты — в январе 1918 года она звучала бы особенно одиозно — он ограничился окольной фразой:

«В одном из примеров, приведенных мною на съезде 1903 года, говорилось об Учредительном Собрании. Это и сделало мой пример «актуальным» для наших дней. Те, которых он испугал, поняли его так, что я способен был оправдать разгон собиравшегося у нас Учредительного Собрания». «Диктатура большевиков представляет собою не диктатуру трудящегося населения, а диктатуру одной части его, диктатуру группы». «Во всяком случае ни социализм вообще, ни марксизм в частности тут совершенно непричем». «Нельзя меня как теоретика русского марксизма делать ответственным за всякие нелепые или преступные действия всякого русского «маркскёнка» или всякой группы «марксят». «Нет такой политической мысли, которая не могла бы быть использована софистом для ложных и вредных выводов». «Очень наивно думать — будто влияние речи, произнесенной мною на нашем съезде 1903 года, побудило большевиков запереть двери Таврического Дворца».

Здесь почти все неверно, начиная с того, что «марксизм тут совершенно непричем». Ленин, которого в раздражении Плеханов так неудачно назвал «всяким маркскёнком», вероятно, разогнал бы Учредительное Собрание и без совета в 1903 г. Плеханова, но не подлежит никакому сомнению, что идеи Плеханова в период, когда тот еще не стал «горе-марксистом», имели на Ленина огромное влияние. Он воспитывался на них. Он впитал в себя идею «диктатуры пролетариата», ту, что Плеханов ввел в составленную им программу партии. А под диктатурой пролетариата Плеханов разумел «подавление всех общественных движений, прямо или косвенно угрожающих интересам пролетариата». Неверно, что на выбрасывание Учредительного Собрания из Таврического Дворца не имела будто никакого влияния речь Плеханова. Рецепт Плеханова Ленин крепко-накрепко запомнил. На этот счет мы имеем свидетельство Крупской (см. ее «Воспоминания о Ленине», изд. 1932 года, стр. 70): «Речь Плеханова о том, что основным демократическим принципом должно являться положение 'высший закон — благо революции' и что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения этого основного принципа, произвела на Владимира Ильича глубокое впечатление. Он вспомнил

о ней, когда 14 лет спустя перед большевиками встал во весь рост вопрос о роспуске Учредительного Собрания».

Своим последним статьям Плеханов дал заголовок -- «Буки-Аз-Ба», — давая этим понять, что аргументы и вещи им разбираемые являются простыми, азбучными истинами. С этим никак нельзя согласиться. Его доводы отличаются крайней шаткостью, чтобы не сказать большего. Это обнаруживается с особенной ясностью в той части его статей, где он доказывает, что «я рассуждаю теперь всё так же, как рассуждал прежде». Ссылаясь на гегелевскую диалектику, на то, что нет ничего абсолютного и безусловного (нет, значит, и абсолютной ценности демократических принципов), что всё зависит от обстоятельств места и времени, Плеханов пояснял, что, например, и «учредительные собрания имеют разный характер», одни из них хорошие, другие очень плохие. Учредительное собрание в России было хорошее, оно «обеими ногами стояло на почве интересов трудящегося населения», и Ленин не должен был его разгонять. Но вот учредительное собрание Франции в 1848-49 гг. было плохим и «если бы парижский пролетариат, быстро оправившись от жестокого поражения, нанесенного ему Кавеньяком, положил насильственный конец деятельности этого органа реакции, то я не знаю, кто из нас решился бы осудить такое действие».

Таким образом одни учредительные собрания можно разгонять, другие нельзя. Размер статьи не позволяет мне входить в детальный разбор вопроса «разгоняемы» ли вообще учредительные собрания, избранные свободно и всем населением. Остановлюсь лишь на французском собрании 1848-49 г.

Заметим, прежде всего, что французское учредительное собрание было избрано прямым и всеобщим (мужчин) голосованием. Это было огромным шагом вперед. В 1847 году избирательным правом пользовалось, максимум, 250 тысяч человек, в 1848 г. — девять миллионов французов получили право голоса. Lavissee говорит: «Cela nous semble tout simple aujourd'hui, en 1848 cela semblait extraordinaire». Почему же это учредительное собрание, начавшее, в мае добрым актом провозглашения республики, стало потом плохим? Оно стало таким после того, как были закрыты организованные временным правительством в Париже «национальные мастерские» и около 100 тысяч рабочих, оставшись без куска хлеба, подняли в июне восстание. Буржуазное общество, создавшее для политических реформ, было далеко от сознания необходимости социальных реформ, тех, что лишь сто лет спустя во Франции

вошли в обиход жизни и стали «азбучными истинами». Восстание парижских рабочих было, конечно, подавлено, но насколько после него испуганная им страна поправила, отшатнулась от социализма, стала против рабочих, накренилась к реакции, можно судить по результатам выборов в дек. 1848 г. Рабочий класс составлял в стране слабое, неорганизованное, малосознательное меньшинство. Даже оправившись от поражения он не мог бы иметь веский голос в учредительном собрании и в сменившей его законодательной ассамблее. Даже сто лет спустя коммунисты и социалисты Франции на выборах 1945-47 гг. не могли собрать половины голосов. В общей массе населения, имеющего право избирать, восставшие парижские рабочие представляли буквально горстку, менее 2%. К величайшему изумлению, Плеханов — а ему, конечно, было известно всё, что мы здесь сообщили — всё-таки счел актом правомерным, разумно-революционным, который никто из нас, якобы, не должен осуждать, чтобы эти «менее 2%» разогнали, насильственно прикончили деятельность органа, выбранного миллионнами людей, хотя бы орган этот и был антисоциалистическим и правобуржуазным (иным тогда — да и позднее, можно сказать, вплоть до 1936 года — он, по своему составу, быть и не мог). А что должны были бы делать эти «менее 2%», насильственно прикончив с Учредительным собранием? Очевидно, сделать себя властью и управлять миллионами враждебного им населения с помощью беспощадного террора, строить Фурье-Прудоновский социализм в стране, не имеющей ни субъективных ни объективных предпосылок для социального переворота. Но если только таким мог бы быть финал одобряемый Плехановым акции, то тогда совершенно непонятно, почему он критиковал Бланки, Ткачева и Ленина. Одобряя гипотетический разгон французского учредительного собрания, тем самым колебля свои доказательства, что в крестьянской России с рабочим классом в меньшинстве может быть только буржуазная революция и не должно быть захвата власти рабочими, он, в сущности, приносил оправдание акту Ленина.

\*\*  
\*

От пребывания у нас Плеханова глубоко запечатлелась в памяти поездка с ним на Воробьевы горы. Войдя однажды в мою комнату, он попросил дать ему «Былое и Думы» Герцена и быстро нашел то место, где тот описывает, как, находясь на Воробьевых горах в 1827 году, он и юный Огарев, обнявшись,

«присягнули пожертвовать жизнью» за счастье и свободу народа. В 1853 году, обращаясь к Огареву, Герцен писал:

«Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной, а между тем, чрез двадцать шесть лет, я тронут до слез, вспоминая ее, она была свято искренна, это доказала вся жизнь наша. Так, Огарев, рука об руку, входили мы с тобой в жизнь. Путь, нами выбранный, был не легок, мы его не покидали ни разу, раненные, сломанные мы шли и нас никто не обгонял. Я дошел не до цели, а до того места, где дорога идет под гору, невольно ишу твоей руки, чтобы пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: вот и всё».

Плеханов вслух, медленно, прочитал это место, особенно нажал на «вот и всё» и, резко захлопнув книгу, обратился ко мне:

«Мне очень хотелось бы посетить место присяги Герцена и Огарева. Не могли ли бы вы организовать поездку туда? Это место можно считать священным в истории развития нашей общественной мысли. От этой присяги пошли и «Колокол», и «Полярная Звезда». Я думал о нем теперь, еду в Москву и очень часто раньше, живя в Женеве».

Через день на нескольких автомобилях, мы отправились на Воробьевы горы: Г. В. и Р. М. Плехановы, В. И. Засулич, приглашенные Плехановым несколько лиц из московской группы «Единства», наш добрый знакомый Р., не без труда добывший весь необходимый нам транспорт. На склон горы, где, надо думать, на месте предполагавшегося к постройке храма по величественному проекту несчастного Витберга, «присягли» Герцен и Огарев, добраться было нельзя. Я привел Плеханова немного правее, откуда, по преданию, Наполеон, пред въездом в город любовался Москвою. Она внизу расстилалась перед нами: под лучами вечеряющего солнца искрился и играл серебряными шпильками изгиб Москвы-реки, за нею виднелись зубчатые стены и белые колокольни Новодевичьего монастыря, по осеннему начинающие золотеть липы и клены Нескучного сада, темный силуэт Донского монастыря, сквозь голубовато-серую дымку — стены, башни, дворцы, церкви далекого Кремля, и на необозримой, сливающейся с горизонтом, грудой домов города — гигантский золотой, точно пылающий, купол храма Христа Спасителя (храм снесен, чтобы дать место еще более гигантскому монументу — зданию в честь Ленина).

Плеханов и Засулич долго любовались этой панорамой. Не трудно было заметить, что Плеханова что-то волнует. Ставший очень бледным, он вдруг сжал руки Засулич.

«Вера Ивановна, 90 лет назад, приблизительно на этом месте Герцен и Огарев принесли свою присягу. Около сорока лет назад, в другом месте — вы помните? — мы с вами тоже присягнули, что благо народа на всю жизнь будет для нас высшим законом. Наша дорога теперь явно идет под гору. Быстро приближается момент, когда мы, вернее кто-то о нас скажет: вот и всё. Это, вероятно, наступит раньше, чем мы предполагаем. Пока мы еще дышим, спросим себя, смотря друг другу прямо в глаза: выполнили ли мы нашу присягу? Думаю, мы выполнили ее честно. Неправда ли, Вера Ивановна, честно?».

Не слышал что ответила Засулич. Видел только, что на лице ее отразилось такое волнение, что, казалось, она зарыдает. Согнувшись, приложив платок к глазам, она быстро отошла в сторону. Там же на Воробьевых горах, на так называемой даче Мамонтова (одного из фаворитов Екатерины II-ой) Р. нас всех сфотографировал. Мы настояли, чтобы Плеханов и Засулич позволили их снять отдельно. Они стали под ветви вековой липы около колонны со старинной разбитой садовой вазой с барельефами. Снимок получился прекрасный и печальный. От обеих фигур рядом с точно символически разбитой вазой веяло трагическим: вот и всё. Восемь месяцев спустя Плеханова не стало. А менее чем через год после него умерла и Засулич.

Восемь последних месяцев жизни были для Плеханова кошмарно тяжелыми. На октябрьский переворот и свержение временного правительства откликнулся 28 октября «Открытым письмом к петроградским рабочим»<sup>\*</sup>). С внешней стороны подчеркнуто, нарочито спокойное, оно полно глубокого волнения. Случилось как раз то, против чего он, вслед за Энгельсом, предостерегал в 1883 году. Заявляя, что это событие его «крайне печалит», он объяснял рабочим Петрограда — неизвестно, дошло ли это до них, они читали «Правду», а не «Единство», — что печалится не потому, что стал «контр-революционером». «Это недостойная клевета на тех, которых сами обличители не могут не признать первоучителями русской социал-демократии». Плеханов снова напоминал, что еще в 1889 году он первый сказал: «революционное движение в России восторжествует как движение рабочего класса или совсем не восторжествует», — но («проблема Вилонова». — Н. В.) из этого не следует желательность «несвоевременного

---

<sup>\*</sup>) Оно подписано также В. И. Засулич и Л. Г. Дейч.



захвата власти». Те, кто «навязывают» его русскому пролетариату, толкают его «на путь величайшего исторического бедствия». «Русский пролетариат не совершит социальной революции, а только вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов, заставит его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте».

Три дня после октябрьского переворота кучка солдат ворвалась в квартиру Плеханова в Царском Селе. Искали оружия. Считая его контр-революционером, революция обыскивала человека, бывшего одним из ее отцов, в течение сорока лет ждавшего революцию, как «верующий еврей ждет Мессию». Это ужасно для отцов и это, кажется, в порядке вещей. Уран пожирал своих детей. Революции иногда пожирают и детей, и отцов. В результате, что и случилось с русской революцией, получается то, чего ни отцы, ни дети не хотели и не предвидели. Один из ворвавшихся к Плеханову матросов, приставив револьвер к его лицу, крикнул: «Выдайте оружие, а то найдем его сами и я тут же убью вас». — «Убить человека нетрудно, ответил Плеханов, но оружия всё-таки не найдете». Плеханов был уверен, что его убьют. Его занимал, передавал он потом, вопрос — «увидит ли он раньше огонь или услышит звук выстрела». По распоряжению царско-сельского комитета большевиков (а может быть и Ленина), для «охраны личности и имущества гражданина Плеханова» к нему на квартиру была послана стража. В Царском Селе Плеханова уже не было. Так как он считал, что «они способны подослать наемного убийцу, а после убийства проливать крокодиловы слезы и объяснять случившееся разбушевавшейся народной стихией», супруга и друзья Плеханова решили спрятать его от разбушевавшейся стихии где-нибудь в Петербурге. В карете Красного Креста его перевезли в клинику Гирзона. Трагическая картина бегства от революции! Не считая клинику Гирзона надежным местом, Плеханова через несколько дней перевезли во французскую больницу. Это здесь Плеханов написал свою последнюю статью — вышеститированную «Буки-Аз-Ба». Убийство двух министров Временного Правительства — Шингарева и Кокошкина — в другой больнице свидетельствовало, что пребывание и в таком месте еще не гарантирует безопасность. Бегство от революции поэтому продолжается: 23 января 1918 года Плехановы перебираются в Финляндию в санаторию Питкеярви близ Териок. Силы Плеханова падают. В течение последних недель его жизни он читал и ему читали вслух античных греческих поэтов. Так уводил он мысль свою от действительности.

То, за что он боролся, падало и разрушалось. То, что поднялось, было не тем, чего он хотел. 30 мая Г. В. Плеханов скончался. Подобно рыцарю Шиллера — он не увидел открывшегося окна.

Я написал некролог Плеханова в газете «Власть Народа». Назвал его «последним западником». Сейчас, более чем когда-либо, такая характеристика мне представляется правильной. Он был западником, как его дальний родственник Виссарион Белинский (мать Плеханова была из фамилии Белинских), когда тот проклял «примирение с гнусной действительностью». Как Чаадаев до его вынужденного покаяния, как Герцен до его заграничного уклона в сторону славянофильства, как Добролюбов или, например, Тургенев, говоривший: «Да, я западник, я предан Европе, предан цивилизации. Это слово и тонятно, и чисто, и свято, а другие все — народность, слава, кровью пахнут. Бог с ними!». При всех ее вариациях это была всё одна и та же линия развития русской мысли. Тот же обращенный к Западу взор, то «хочу в Европу съездить», которое восточник Достоевский со страстью вложил в уста Ивана Карамазова, чтобы тут же прибавить, что Европа всё-таки кладбище. Как и они, Плеханов был «идеологом» западничества. Это не было у него простым приятием учреждений Запада, его общественных отношений, его экономики, пролетариата, социал-демократии, революции. В идеологии и у атеистов, сверх науки есть всегда элемент веры. В данном случае вера связывалась с где-то спрятанным чувством, что Запад, Европа, есть всё-таки «страна святых чудес». Когда-то Белинский выражал уверенность, что будущее России «обеспечит только буржуазия», а П. Б. Струве, в сущности, развивая ту же мысль, бросил (в 1894 году) знаменитую фразу: «Признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму». Оба заявления Плеханов не находил удачными, но видел в них «благородное увлечение западников». То же самое можно сказать и о многих тезисах самого Плеханова.

Дело ученых историков судить о том, насколько работа Плеханова «История развития русской общественной мысли» (он успел довести исследование только до конца эпохи Екатерины II) приносит что-либо новое, что не было уже сказано другими нашими учеными. Каково бы ни было суждение о ее научной ценности, она (а в последние годы до революции ею была целиком занята мысль Плеханова) для него крайне характерна. Вслед за другими он настаивал, что «в течение долгого времени Русь, по характеру своего социально-политиче-

ского строя, удалялась от Запада и сближалась с Востоком». «Некоторые деспотии Востока, древний Египет или Халдея, тоже закрепощавшие государству все народные силы, были даже более цивилизованы, нежели Московская Русь XVII-го столетия». Вызываемая разными причинами, глубинная тенденция Руси дрейфить на Восток, обожествлять владыку — кесаря, хана, фараона, царя, — закрепощать государству все народные силы, превращать в жалкую былинку личность — страшила и волновала Плеханова.

После 1905 года европеизация общественной жизни России стала идти ускоренным темпом. Как бы ни были еще умеренны демократические свободы, плоха Государственная Дума, дыхание европеизации явно чувствовалось не только в больших городах, но даже в деревне (изменение быта, таяние помещичьих хозяйств крепостного типа, переход земли на начала частной собственности в руки крестьянства, столыпинские законы, рост потребительных и кредитных кооперативов и т. д.).

Веками, географией, татарщиной, византийским высокомерием созданный у русских внутренний, душевный заслон (отталкивание) от Европы как будто стал рассеиваться. Но Плеханов в своей «Истории русской мысли» — накануне войны и во время ее, — всё еще продолжал вести «идеологическую борьбу» за Запад, всё еще следил, когда, как, в какой форме, в какой степени, внедрялся у нас западный дух. Революция оборвала его работу, он оказался последним борцом в славной фаланге наших западников. Вероятно потому, что он 37 лет жил вне России и многое в ней из его глаз ускользало (я убедился в том из разговоров с ним), Плеханов крайне низко оценивал сделанные страной шаги на путях европеизации. По этой причине он считал нужным сугубо продолжать «идеологическую» борьбу за Запад. «Настоящая европеизация, говорил он пишущему эти строки, к нам придет лишь после встряски хорошей, успешной, буржуазной революции. Не переоценивайте и не увлекайтесь тем, что уже достигнуто. Это еще далеко не Европа, а только, как говорил Тургенев, первое лепетанье спросонья».

Едва ли нужно напоминать роль, сыгранную Плехановым в пропаганде, разъяснении, обосновании значения для России именно «буржуазной» революции. Приходится теперь констатировать, что, создавший Плеханову огромную славу прогноз — оказался ложным. Революцию 1905 г. следует признать буржуазной, но та, уже не половинчатая, не «ублюдочная», а «на-

стоящая», столь ожидаемая Плехановым, революции, которая, он однажды сказал, должна «с процентами отдать всё», что русские революционеры заимствовали из «школы великой французской революции», эта революция, пришедшая в 1917 году, все его схемы, формулы, расчеты, доводы — «прокинула навзничь и растоптала».

Плеханов жестоко ошибся, утверждая, что «по состоянию ее производительных сил» в России «никакой другой» прочной революции, кроме буржуазной, быть не может. «Другая» революция как раз-то и пришла. Совсем не будучи буржуазной, она не стала и социалистической, а после смерти Ленина, изо дня в день перерождаясь и вырождаясь, привела к образованию под Сталиным чудовищного тоталитарного государства, восточной деспотии нового типа, владеющей техникой — модерн XX века. Из Запада она взяла блюминг, турбогенератор, самолет, а дух Запада, как вредное и ненужное, отбросила вон, вернувшись во-свояси, на Восток, в отчий дом. Благоговясь марксизмом, она возвратилась к старцу Филсфею («два Рима падоши, а третьей стоит, а четвертому не быти»), к Ивану Грозному, к установлению, в стиле московского средневековья, государственной религии — сталинизма, к принудительному паданию ниц пред властителем страны, «отцом народа», к такому презрению к личности человека, такому плановому закреплению населения государством, которые могут соперничать с порядками восточных деспотий. Прежде людишки и холопы убегали от гнета, в степи. Теперь некуда убежать. Всюду НКВД. Лишь немногим удалось стать «ди-пи». Курбские и Котошихины ныне называются Коряковыми и Кравченко. Величайший русский реакционер К. Леонтьев верил, что Россия во главе «новой восточной государственности» даст миру новую культуру, раздавив, выбросив как хлам, культуру Европы. И если Сталин читает что-либо, кроме своих речей, — «Восток, Россия и Славянство» К. Леонтьева, конечно, — его настольная книга. Воспитание в советском народе — «богоносце» бешеной, звериной ненависти к западной культуре, ее учреждениям, свободам, быту, общему духу — ныне стало основной задачей государства. Вот к чему привела русская революция, не пожелавшая быть ни буржуазной, ни социалистической. На темном фоне этого «исторического бедствия» уже совсем трагична фигура Плеханова, последнего западника.

**Н. Валентинов**